

© 2020. В. Ю. Троицкий
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Поэзия А. С. Пушкина последнего десятилетия жизни как выражение национального самосознания

Автор статьи обращается к творчеству Пушкина последнего десятилетия его жизни, отмечая особую полноту мировосприятия поэта и масштаб его пророчеств. В работе доказывается, что поздние произведения Пушкина не просто передают взгляды и настроения поэта, но показывают его отношение ко времени, истории, государству. Для творчества Пушкина характерно воплощение в художественных образах лучших национальных особенностей, ощущение связи человека с Богом. Автор подчеркивает, что Пушкин был убежденным монархистом, осмыслявшим монархию с исторической и политической точек зрения как лучшую форму правления для России. В статье рассматривается ряд важнейших образов и понятий художественного творчества позднего Пушкина, открывающих широту его взгляда, проницательность его геополитических воззрений. Автор приходит к убеждению, что они могут быть осмыслены только с учетом православного мировоззрения автора. В работе отмечается органическая связь пушкинской мысли со святоотеческой традицией и выявляется важнейший смысловой акцент пушкинских поздних стихотворений. Всё пушкинское творчество утверждает течение жизни по Божественному замыслу. Поэт осмысляет саму жизнь как служение Богу, его замыслу и его творению — человеку и человечеству.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, национальное самосознание, национальные типы, судьба Отечества, служение, поэтическое пророчество, духовное зрение, русский менталитет.

Информация об авторе: Троицкий Всеволод Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, академик Российской народной академии наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25а, 121069, г. Москва, Россия

E-mail: info@imli.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 18.11.2019

Дата публикации статьи: 24.03.2020

Для цитирования: Троицкий В. Ю. Поэзия А. С. Пушкина последнего десятилетия жизни как выражение национального самосознания // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 16–XX. DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-16-61



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2020. Vsevolod Yu. Troitsky
A. M. Gorky institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Poetry of Alexander Pushkin of the last decade of life as an expression of national identity

The author of the article addresses the work of Alexander Pushkin in the last decade of his life, noting the particular completeness of the great writer's worldview and the scale of his prophecies. The article proves that Alexander Pushkin's later works not only convey the writer's views and moods, but also show his relation to time, history, and the state. Alexander Pushkin's creative work is characterised by the embodiment in artistic images of the best national features, a sense of a person's connection with God. The author emphasises that Alexander Pushkin was a convinced monarchist, who interpreted the monarchy from the historical and political points of view as the best form of government for Russia. The article considers a number of the most important images and concepts of late Alexander Pushkin's art, revealing the breadth of his view, the insight of his geopolitical views. The author comes to the conclusion that they can be comprehended only taking into account the Orthodox worldview of the writer. The paper notes the organic connection of Alexander Pushkin's thought with the patristic tradition and reveals the most important semantic emphasis of Alexander Pushkin's later poems. All Alexander Pushkin's creative work affirms the course of life according to the Divine plan. The genius interprets life itself as a service to God, his plan and his creation — human being and humanity.

Keywords: Alexander Pushkin, national identity, national types, fate of Fatherland, mission, poetic prophecy, spiritual insight, Russian mentality.

Information about the author: Vsevolod Yu. Troitsky, DSc in Philology, Professor, A. M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069, Moscow, Russia

E-mail: info@imli.ru

Received: November 18, 2019

Published: March 24, 2020

For citation: Troitsky V. Yu. Poetry of Alexander Pushkin of the last decade of life as an expression of national identity. Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 1, pp. 16–XX. (In Russ.) DOI 10.22455/2686-7494-2020-2-1-16-61

Последнее десятилетие жизни А. С. Пушкина, несомненно, самое значительное в творческом отношении, включает стихотворения, свидетельствующие о той полноте мировосприятия и той степени художественного мастерства и проницательности, которые дают негласное основание ожидать от него поэтического пророчества. Появившийся в начале 1826 г. сборник «Стихотворения Александра Пушкина» был итогом сделанного ранее и укрепил мнение о совершенном возмужании его гения.

Личность поэта вполне определилась в отношении к многосложности жизни. И самый эпитафия («*Aetas prima canat veneres, extrema tumultus*»), вызвавший чисто политическое толкование Н. М. Карамзина («...зачем губит себя молодой человек?»), был исполнен иного смысла: «*extrema tumultus*» означало, несомненно, — смятение душевное. Душевное смятение — от понимания многосложности жизни. Нелучайно в начале названного десятилетия в один год (1826) появляются стихи столь различные по смысловому содержанию: и «Песни о Стеньке Разине», и «Пророк», и «Стансы», и «Зимняя дорога», наконец, «О муза пламенной сатиры...» и «На Александра I».

Все эти стихотворения отражают не сами по себе настроения и взгляды поэтической личности, но итоги состояний, наблюдений и размышлений, проникнутые умудрённым житейским опытом и освещённые несомненной широтой мировосприятия. Они передавали отношение ко времени («гнусный век») и нравственные уроки отечественной истории, где образ самодержца, который «не презирал страны родной: он знал её предназначенье», был живым свидетельством возможных надежд на будущее:

В надежде славы и добра
Гляжу вперёд я без боязни.
«Стансы», 1826. [Пушкин 2: 342].

Первые строки «Стансов» определяли настроенность поэзии по взгляду на будущее: «гляжу вперёд» и ожидание (с надеждой!) этого будущего. Более того, они передавали уверенность, веру в будущее как прозрение и предвидение. Так, в поэзии Пушкина зазвучали настроения, подводящие к цели и смыслу одного из пушкинских шедевров — «Пророку».

С первого стиха мысль поэта — «порыв из вещественного» [Пушкин 10: 211]: *духовная жажда* поэтически соотносится с *духовной пустыней*, духовной реальностью. И мрак здесь, очевидно — *духовный мрак*, образ, связанный с общим подавленным состоянием поэта после казни и ссылки декабристов («каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна») [Пушкин 10: 211]. И на этом мрачном, тёмном пути — явление Серафима, ангела, стоящего на высшей ступени небесной иерархии и приближенного к Божию престолу, ангела, самое имя которого означает «*пламенный*», то есть несущий свет, сразу преображает зримую картину произведения.

Вслед за этим преображением начинается восхождение к пророчеству самого поэта: раскрываются навстречу миру его помрачённый взор и приглушённый слух:

Перстами лёгкими, как сон,
 Моих зениц коснулся он;
 Отверзлись вещие зеницы,
 Как у испуганной орлицы.
 Моих ушей коснулся он,
 И их наполнил шум и звон:
 И внял я неба содроганье,
 И горний ангелов полёт,
 И гад морских подводный ход,
 И дольней лозы прозябанье...

«Пророк», 1826. [Пушкин 2: 338].

Итак, мир, преображённый познаваемой истиной, видится по-иному: ведь в русском православном миропредставлении «*истина*» — от духовного рождения, а «истинность присуща духовной мудрости», она достоверна и потому пророчества, имеющие в основе Истину, — сбы-

ваются [Свт. Тихон Задонский 2: 19; 3: 57].

Истина видения и полнота восприятия — вот основание для пророчества, ибо судьба как то, что включает полноту исполнения, может осознаваться лишь через полноту прозрения и страдание. Такого рода мироощущение, типическое для русского национального менталитета [Безруков: 218], вполне отражается в «Пророке»:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угля, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
«Пророк», 1826. [Пушкин 2: 338].

Пройдя через преодоление страха и страдания, Пророк не остаётся богооставленным. К нему, преображённому и духовно воскресшему, взывает Господь:

Встань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей,
И обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
«Пророк», 1826. [Пушкин 2: 338].

Так воплощается в представленном образе черта национального характера и то свойственное русскому духу упование на Бога, которое подспудно ощущается и в «Стансах» (1826), где вполне передано желание, высказанное ещё Г. Р. Державиным — «истину царям с улыбкой говорить»...

Сравнение времени царствования нового императора со временем царствования его выдающегося предшественника Петра Великого отнюдь не дань лести, но убеждение, в основе которого — не просто наде-

жда, а, прежде всего, изменение общего настроения, свершившееся после декабристского восстания, настроения, ещё раз подтверждающего убеждённый монархизм поэта. Этот «монархизм Пушкина не есть просто преклонение перед незыблемым в тогдашнюю эпоху фактом, перед несокрушимой в то время мощью монархического начала (не говоря уже о том, что благородство, независимость и абсолютная правдивость Пушкина совершенно исключают подозрение в каких-либо лично-корыстных мотивах этого взгляда). Монархизм Пушкина есть глубокое внутреннее убеждение, основанное на историческом и политическом сознании необходимости и полезности монархии в России...» [Франк: 53]. И этот монархизм (вновь подтверждённый в «Стансах») не исключал, а предполагал развитие просветительских стремлений и веры в своё Отечество:

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение...
Не презирал страны родной,
Он знал её предназначенье
«Стансы», 1826. [Пушкин 2: 342].

Это была и вера в царственного Наследника (пусть в форме пожелания ему быть подобным пращуру, который «неутомим и твёрд» и «памятью... незлобен»). Всё это, разумеется, уже совсем не похоже на юношеский задор, на мечтания об «обломках самовластья». Напротив: здесь чувствуется солидарность и единение с тем, кто *поставлен* служить России.

Есть произведения, в которых воспроизведение какой-либо стороны национальной жизни и её поэзия высказываются во всей полноте и целостности непосредственных наблюдений, сокровенно воспринимаемых деталей и образов. Так, одна небольшая картина вмещает многие стороны народной жизни в непосредственности настроений и переживаний, соприродных важным сторонам национального самосознания. «Зимняя дорога» именно такой эпико-лирический шедевр, в котором угадываются через контрастные образы те сокровенные ощущения-настроения, которые так близки русскому сердцу:

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит.
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

«Зимняя дорога», 1826. [Пушкин 2: 344].

Это стихотворение венчает вереницу лирических зарисовок: «Зимний вечер» (1825), 19 октября («Роняет лес багряный свой убор...» (1826)), «Какая ночь!...» (1827) и др., составляющих живописную симфонию переживаний, вдохновлённых картинами русской природы и вызванными ими чувствами, наиболее отвечающими типическим впечатлениям и состоянию русской души. Души, полной характерных контрастов и почти непередаваемой словами — гаммы эмоционально-образных обертонов и настроений. Настроений, органически связанных с тем, что поэт определял как образ мыслей и чувствований народа.

Такие картины воплощают широту русского пространства. Поэтому *образ дороги*, пролегающей в бесконечную (а потому и «однообразную», как бы «скучную» своею бесконечностью) даль приобретает внутренний художественный смысл. Ведь неслучайно и у Н. В. Гоголя образ Руси-тройки, несущейся по дороге, устремлённой в «пропадающую даль», и у А. Н. Некрасова благодарение Родине («Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор»), поражающей своею необозримостью.

Этот национально окрашенный образ сам по себе означает сокровенность связи поэта и народа, которая проявляется во внутреннем видении и переживании окружающего мира, прежде всего — родной стороны. Эта духовная «власть земли» и чувство русского пространства вполне овладело поэтом. Поэтому лирические стихи о природе, пейзажи его поэм и романа «Евгений Онегин» столь созвучны глубинно-русскому мировосприятию. Оно то и раскрывается в сжатой до предела формуле настроений, отзывающейся в ямщицкой песне:

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска.

И следующая строка в сущности завершает эту словесную симфо-

ническую миниатюру до боли знакомыми зрительными кадрами:

Ни огня, ни чёрной хаты.
Глушь и снег. Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадают одна...

«Зимняя дорога», 1826. [Пушкин 2: 344].

Последующие строки, относящиеся к близящейся встрече с милой, были бы обыденными и убогими без упомянутых картин. И напротив: следуя за этими картинами, они наполняются именно национальным русским содержанием и смыслом: и характер встречи, и её участники воспринимаются нами как незнакомые знакомцы, соотечественники.

Стихотворение это по настроению удивительно соответствует одушевлённому состоянию поэта, каким оно вырисовывается из жизненных фактов и творческих свершений этого времени: сквозь душевное смятение и столкновение противоречивых мыслей и чувствований начинают проступать контуры новых жизненных представлений, иная, чем ранее, сокровенно-национальная позиция во взглядах на мир.

Поэт не отказывается от прежних идеалов и привязанностей, но они очень постепенно наполняются новыми смыслами, и возникают образы, несущие иные прозрения. Но прежде всего он настойчиво пытается утвердиться в целях и задачах своего дарования, в своём назначении, в призвании поэта. В это время появляются «Арион» (1827), «Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), а позже — «Поэту» (1830), «Ответ анониму» (1830).

Из гаммы многосложных и, казалось бы, противоречивых суждений, представленных в этих произведениях, постепенно складывается образ поэта, *обречённого своему призванию и ответственного перед ним.*

Вместе с тем, определяется и собственно русский взгляд на поэтическое творчество, которое осознаётся им как «свободное, самозабвенное, художественное созерцание сердцем. Из-за этого и вследствие этого он был истинно русским и насквозь русским» [Ильин 6: 200].

Образ поэта в «Арионе» сохраняет черты некоторого своеволия («беспечной веры полн») и неопределённости («таинственный певец»), но здесь весьма откровенно определена идейная преемственность его поэзии («Я гимны прежние пою»).

Однако «гимны прежние» не были однозначны по содержанию и па-

фосу. Это была не только верность иным декабристским идеалам. Патриотическая лирика, являвшаяся отзвуком войны 1812 г., несомненно, присутствовала в поэтическом сознании поэта как неотъемлемая часть его творческого наследия. И всякое творческое пробуждение, несомненно, было живым и непосредственным *итогом*, его откликом на «божественный глагол», откликом нелицеприятным и соответствующем высоте призвания к «священной жертве» («Поэт», 1827). [Пушкин 3: 22].

Движение к высоте поэтического созерцания, к поднебесной высоте истины невозможно, когда

В заботах суетного света
Он малодушно погружён.

Это малодушие, то есть сон души («хладный сон»), духовная дремота до поры до времени — типическая черта русского национального характера — вольно или невольно отразившаяся здесь. Но эта «духовная дремота» или «хладной (бездушный) сон» — *до поры*. И самое *преображение* к творчеству, запечатлённое в стихотворении «Поэт», таит в себе названное национальное свойство русского человека, позже отмеченное Ф. М. Достоевским: способность «подниматься духом в страдании, укореняться политически в угнетении и, среди рабства и унижения, соединяться взаимно в любви и Христовой Истине» [Достоевский 23: 103]. Именно поэтому происходит отчуждение от «света», от мира, возвышение до надмирных высот духа:

Душа поэта вострепелётся
Как пробудившийся орёл.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы.
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

«Поэт», 1827. [Пушкин 3: 22].

Национальный взгляд на призвание, служение, подвиг воплощается в убеждении о независимом (абсолютном) долге поэта, не связанном никакими сторонними узами, самодостаточному и подчинённому лишь Высшему началу. Отсюда — художественная логика стихотворения «Поэт и толпа» (1828), приводящая к смысловому завершению диалога, ведущегося между поэтом и толпой:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
«Поэт и толпа», 1828. [Пушкин 3: 89].

Эти строки некогда трактовались как выражение гордой независимости поэта от мнений и притязаний «толпы», от традиционных верований и представлений. Но стоит только исторически осмыслить каждое слово, включённое в эту пушкинскую строфу, чтобы осознать её истинный смысл. Под *житейским* разумеется обыденное, бытовое, повседневное, суетное. Но суетность, суета в понятиях русского языка — это: ничтожность, бестолковость, беспорядочность. *Суетный* — это напрасный, пустой, плотски-земной, безумный. Уточнив спектр предметных смыслов слова «житейский», смысл, скрытый от поверхностного взгляда, мы должны будем по-иному воспринять пушкинский стих. Ведь для восприятия русских людей пушкинской эпохи, для соприродного им православного сознания «житейское волненье», суета — это *прелесть*, «обман князя тьмы», безумие, ложное и тленное, удаляющее от духовной жизни, от Бога. Согласно православным представлениям, «Господь удаляется от человека, живущего в суете» [Свят. Тихон Задонский 5: 92]. «Житейское волнение» не соответствует высокому званию христианина, ибо приводит к забвению вечности.

Слово *волненье* тоже требует осмысления. Волненье — состояние возбуждения, пылкость, вожделение, беспорядочная смена и несдержанность чувств и впечатлений, жизненные, суетные треволнения, наконец, открытое выражение неудовольствия, негодование, бунт и пр. Всё это вполне соответствует понятию «страсти», которые православная традиция рассматривает как «внутренние идолы в сердце челове-

ка», как злые помыслы, делающие человека своим рабом и рабом греха.

В этом отношении *страсти*, согласно православному миропониманию, *противостоят свободной человеческой жизни*. Ведь жизнь, достойная человека, — всегда непринуждённое утверждение собственно человеческих свойств и достоинств, то есть духовных начал. Поэтому так глубоко прав Ф. М. Достоевский, поясняющий: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведёт лишь к рабству вашему» [Достоевский 25: 62].

Таким образом, приоткрывается обнажённый (заострённый) смысл приведённых строк: человек рождён не для безумия, не для ничтожной земной бестолковости и суетности, не для безбожного следования греху, но для Высшего, значительного, оправдывающего его человеческое существование, предметного духовного жития.

Вникая в смысл последующих стихов мы приходим к следующему. *Корысть* — это жадность, любостяжание, стремление к наживе, деятельная зависть к чужому. Всё это, согласно православному миропониманию, противостоит милосердию и любви. Истинная любовь требует жертвенности, милости. И в этом христианин должен следовать Божьим заповедям. Корысть же свидетельствует об отсутствии христианского духа и веры, ибо всё, что имеешь, Божие. Бескорыстие — истинно человеческое состояние добродетельной жизни. Последняя отрицаемая установка: «не для битв» требует особого пояснения. Ведь вся жизнь наша — сплошная борьба.

Битва — это бой, большое сражение, драка, брань, убийство, побоище. Слово это по смыслу противостоит таким словам, как мир и покой. Согласно православным представлениям, Бог не принимает ни покаяния, ни молитвы того человека, у которого нет мира с ближним. Заметим, что в поэтическом тексте Пушкина слово это, поставленное в ряд со словом «корысть», приобретает известную смысловую «сниженность», направляя мысль к понятию суетных битв, бытовых столкновений. Память о больших битвах, исполненных благородных стремлений, защиты чести и Отечества *отодвинута* упомянутым смысловым соседством. Вместе с тем *битва* — лишь переходный мостик к цели — к покою, гармонии, к ладу и миру, в котором и осуществляется земное

внутреннее очищение, созидательное совершенствование, развитие и плодотворная жизнь человека и народа. Поэтому не для битв *рождён* человек, хотя в силу греховности мирской и проводит большую часть жизни в неизбывных бранях. Так определяется истинный смысл первой части заключительной строфы.

Обратившись ко второй её части, мы обнаруживаем три смысловых узла, определяемых словами: «для *вдохновенья*, для *звуков сладких* и *молитв*». Следует понимать, что по природе своей человек склонен к *вдохновению*, которое, по словам поэта, есть «расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следовательно и объяснению оных» [Пушкин 7: 57], и созвучно словам «воодушевление», «состояние духовного подъёма» и даже «озарение Свыше». Когда «Божественный глагол», касаясь слуха поэта, окрыляет его душу, человек ощущает внезапную помощь своим духовным силам.

Слово «*звуки*» имеет значение «поэзия», «поэтическое творчество». *Сладкие*, то есть улаждающие ум, чувства и доставляющие радость плоды творчества — цель человеческой жизни, отнюдь не только в области поэзии, смысл жизни истинного поэта. Наконец, заключительное слово, выражающее смысл строфы — *молитва*. Оно означает, прежде всего, признание над собой в мире Всевышнего, Творца. Взгляд молящегося не замыкается на человеке, даже на его сознании, а поднимается над видимым миром, образуя представление о мире горнем, о святости Высшего, о Господе. Ибо, по православным представлениям, соприродным русским культурным традициям, молитва — беседа с Богом, благодатная связь с Ним, окрыляющая человека, согласие человека с Его заповедями, смиренное благоговение перед Господом и обращение за помощью к нему в праведных и добрых делах. Истинная молитва для православного сознания — прелюдия всякого доброго дела, творимого на земле. Итак, содержательный смысл пушкинских слов вполне соответствует русскому православному самосознанию, слова поэта являются наглядным его выражением.

То же можно сказать и о стихотворении «Поэту» (1830), которое в поэтической форме воспроизводит живую картину отношений *поэта* и толпы, *правды* и мнений. Правда поэта не должна зависеть от чьих бы то ни было мнений, и один в поле воин на путях к ней. Все эти настроения соответствуют внутреннему строю национального самосознания, опирающегося на *идею* святой правды, правды-Истины, которая сама

по себе цель и служить которой можно только «не требуя наград за подвиг благородный», пренебрегая минутным шумом восторженных похвал и тем более любым презрением и осуждением.

Историческая мысль поэта уже вполне созрела к 1827 г., и взгляд сквозь «исторический кристалл» обрёл полноту восприятия исторического мира, вполне проявляющуюся в трагедии «Борис Годунов», где поэтом двигало прежде всего чувство уважения к минувшему. Но самое минувшее предстаёт как трагедия человека и народа, как духовная драма, имеющая корни в *личной* и *народной* судьбе того смутного времени. Обстоятельства жизни настраивали поэта на переосмысление прежних представлений. Укажем лишь на один характерный эпизод. Когда в 1826 г. С. Д. Полторацкий показал А. С. Пушкину список оды «Вольность», поэт не хотел даже взглянуть на эту оду, а дописав незаконченное в списке Полторацкого стихотворение «Кинжал», «под ним подписался: «не А. Пушкин».

Сохраняя «вольнлюбивые мечты», он всё более проникается чувством ответственности, ощущением своей роли национального поэта. «Борис Годунов» окончательно утвердил за ним это место. В трагедии воплотилась и нашла высочайшее выражение полнота исторического изображения, присутствующая у Шекспира, «который никогда не боится скомпрометировать своего героя», «заставляет его говорить с полнейшей непринуждённостью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и в надлежащих обстоятельствах он найдёт для него язык, соответствующий его характеру» [Пушкин 10: 161].

Язык, соответствующий характеру; исторический колорит эпохи; жизненный конфликт, соответствующий исторической истине; наконец, стремление охватить целостную картину времени, в которой намечаются признаки исторической закономерности — всё это органически связано с выявлением национального самосознания, с внутренними генетическими предпосылками развивающихся действий. Настроения и устремления героев и толпы, царя и народа, причастного к трагедии постоянным в ней присутствием, наконец, образ-характер юродивого и его голос в историческом многоголосье, — всё предваряет полноту исторической очевидности, живую многосложность и целостность исторического видения. При этом пушкинская трагедия исходит из того, что «драма родилась на площади», что она «стала заведовать страстями и душою человеческою» [Пушкин

10:161].

Итак, душа человеческая и душа народная — вот, собственно, предмет поэтического изображения времён Годунова. Именно отсюда и ведётся отсчёт в определении русского национального самосознания, отразившегося в «Борисе Годунове» [Пушкин 5: 219–330]. Кремлёвские палаты предстают как место и исход начавшейся драмы, а *совесть* — как центр и исход неоспоримого конечного суда над происходящим. «Ужасное злодейство», дотоле даже скрытое от молвы, согласно национальному мироопределению, неизбежно обнаружится либо как обличающее слово, либо как поворот судьбы (суда Божия), которого никому не миновать. И те, кто наряжен «вместе город ведать», князья Воротынский и Шуйский, единокоренны в своих представлениях о добре и зле, хотя открыто судит обо всём лишь прямослов Воротынский («ужасное злодейство», «зачем же ты его (организатора убийства — В. Т.) не уничтожил?», «нечисто, князь», «верно, губителя раскаянье тревожит...»). Но правда-истина неистребима. Неистребима и сила молитвы («Мы все пойдем молить царицу вновь, / Да сжалится над сирью Москвою / И на венец благословит Бориса»), к которой прибегают все («Молитесь — да взыдет к небесам / Усердная молитва православных»). Неистребимо и сознание народной общности («...и в поле даже тесно / ... Вся Москва сперлася здесь»), коренящейся в подсознательном, но неизбывном чувстве ответственности быть причастными судьбе государства, глубоко, иногда неосознанном вполне чувстве самосохранения через единство государственного бытия. Это присущее национальному самосознанию чувство то гаснет, то снова вспыхивает, но неизменно присутствует в сердцах всех героев.

Все они в той или иной мере наделены чувством ответственного отношения к своему *месту* и сознанием нравственных основ, предначертанных православному образу правления. Тем же проникнут несомненно искренний монолог царя Бориса в Кремлёвских палатах:

Ты, отче патриарх, вы все, бояре,
 Обнажена моя душа пред вами:
 Вы видели, что я приемлю власть
 Великую со страхом и смиреньем.
 Сколь тяжела обязанность моя!
 Наследую могущим Иоаннам —

Наследую и ангелу-царю!..
О, праведник! о мой отец державный!
Воззри с небес на слезы верных слуг
И ниспошли тому, кого любил ты,
Кого ты здесь столь дивно возвеличил,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славе свой народ,
Да буду благ и праведен, как ты.

[Пушкин 5: 219–330].

Первое, что обращает на себя внимание в этом монологе — ещё не утраченное, не ставшее одною внешнею привычкою и ритуалом религиозное сознание духовно-нравственной ответственности царя. Слова его ни при каких условиях невозможно признать формальными или тем более — лицемерными. Они — всплеск сокровенного чувства, знамение состояния всего существа. Ибо он не может мыслить, что его избрание — случайность или расклад подготовленных (в том числе и им самим) обстоятельств («Умел и страхом, и любовью, / И славою народ очаровать»), но в глубине души убеждён, что это Божья воля. А значит... Что это значит — на этот вопрос царь Борис не знает ответа и боится его... Ибо русскому национальному самосознанию присуще чувство и вера в торжество (рано ли, поздно ли) несомненной правды-справедливости и добра. И это торжество добра неизменно означает суд Божий, *судьбу*. И если Господь, несмотря на грехи, «дивно возвеличил» Бориса (это ли не любовь?), то простил ли он ему нераскаянный грех соучастия в убийстве? Борис просит «на власть благословенье», хотя уже и получил эту власть. Но его обнажённая душа, принимающая «власть великую со страхом и смирением», неспокойна, хотя он вполне владеет собой, и потому его слова к праведнику Феодору, к «державному отцу», звучат как скрытое обещание впредь никогда не согрешать: «Да буду благ и праведен как ты».

Следующая сцена («Ночь. Келья в Чудовом монастыре») включает потрясающий своей проникновенностью монолог Пимена. В нём явно выражено национально-православный взгляд на развёртывающиеся события и свойственная ему оценка исторических лиц, основанная на религиозном восприятии свершающегося во времени. Пимену не свойственно олимпийское спокойствие; он смиренно исполняет

своё дело, не осуждая деятелей, но сочувствуя падшим и молясь о тех, кто совершил грех. Ибо для него история — не то, что зависит только лишь от воли человека, но прежде и более всего (говоря словами учёного) «действие некоторой Высшей сознательной и видящей силы» [Тихомиров: 19]. Поэтому столь смиренно наставляет он судить о властях, не отрицая их преступления, но и не беря на себя права осуждать их «за грехи, за тёмные деянья», а лишь умоляя о них Спасителя. Поэтому «потомки православных»

Своих царей великих поминают
 За их труды, за славу, за добро —
 А за грехи, за тёмные деянья
 Спасителя смиренно умоляют.

Сцена завершается словами инок Григория, словно отвечающими на скрытое обещание Бориса быть праведным:

И не уйдешь ты от суда мирского,
 Как не уйдешь от Божьего суда.

Но сам Григорий надеется на такой оборот дел («...буду царём на Москве»). И мысль эта связана с сознанием, что соучастник убийства царевича Борис стал царём, помазанником Божьим, то есть от суда ушёл, по крайней мере, на время. Неверие — не просто грех, это — недальновидность. Григорий недальновиден гораздо более, чем Борис, который, согрешив, трепещет и кается. Пушкин начинает в «Борисе Годунове» *тему русского национального покаяния*, развивавшуюся во всей драме и завершённую последним земным судом над Борисом (глас народа — глас Божий).

Эсхатологичность русского национального самосознания вполне отражается в знаменитом монологе Бориса в Царских палатах («Достиг я высшей власти...»). Он, казалось бы, находящийся на вершине судьбы, на самом деле постоянно терзаем ею («счастья нет моей душе») и грезит несчастьем («предчувствую небесный гром и горе»). И все добрые усилия его власти оборачиваются печалью: желание «свой народ / В довольствии, во славе успокоить, / Щедротами любовь его снискать» не получило отзыва («они любить умеют только мертвых»). Прокляти-

ями против власти завершаются и благотворительные акты во время голода («Я отворил им житницы, / я злато / Рассыпал им, / я им сыскал работы»), и строительство домов после пожара («я выстроил им новые жилища») — ничто не вызывает благодарения, но либо —подозрения, либо — прямую неблагодарность...

Ища успокоение в *совести*, Годунов духовно прозревает:

Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Трагедия царя Бориса — это *трагедия русской совести*, поражённой тяжким грехом. Она по национально-генетическому образу своему словно предопределена либо стремиться к святости, приближаясь к ней, либо исходить мукою, безысходно терзаясь язвою порока или свершённого преступления. Смута в душе государя неразрывно связана со смутой в его государстве. А история его участия в преступлении становится исходной точкой для преступника-самозванца, выдающего себя за царевича Дмитрия. В этом мистическая логика русского национального самосознания.

Народная молва о преступлении воскресает в словах юродивого, являющегося воплощением обнажённой правды под маскою непонятливой наивности или детской непосредственности («устаи младенца глаголет истина»). А предсмертная исповедь царя Бориса перед сыном вновь подтверждает её, ибо самозванец «именем ужасным ополчен». Имя убиенного царевича вызывает ужас царя.

Народ, приветствующий Дмитрия, — это ли не апогей его замысла? Но укравший имя — грешен не менее, чем погубивший душу. А гибель детей Годунова немедля отрезвляет толпу. Эта неперемнная сопричастность невинно пострадавшим, национальное свойство всею душой сочувствовать невинному резко меняет настроение готового было при-

сгнать Дмитрию народа: «Народ безмолвствует».

Так в поворотах сюжета трагедии А. С. Пушкина проявляются черты русского национального самосознания во взглядах на исторического человека. Так одухотворённая гением Пушкина история вновь и вновь убеждает в глубоком проникновении поэта в свойства национального характера.

«Полтава» (1828), написанная три года спустя, явилась как историческое происшествие, в котором события русской истории были объединены выдающейся исторической личностью Петра Великого, воплощающей собою многие типические черты русского характера и одновременно олицетворяющую одну из ярких картин русской истории, в которой этот характер раскрылся с достойной полнотой. История и исторические личности получили в этом поэтическом произведении совершенное выражение, ибо выявились в наиболее глубоких исторических действиях, знаменующих историческое преобразование национальной жизни. Центральное событие — Полтавское сражение — явилось апогеем проявления русского духа в то время. Этому отнюдь не мешало некоторое отступление от исторических фактов. Ведь основные источники поэмы: «История Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского и «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова, а также «История Петра Великого, от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Перевологине», сочинённая Феофаном Прокоповичем в Санкт-Петербурге в 1773 году, материалы которой вошли в названные исторические сочинения, достаточно внимательно изучались Пушкиным.

Не вдаваясь в многостороннее исследование поэмы, постараемся обнаружить те её стороны, которые с наибольшей полнотой отражают национальный взгляд на время и события, в ней представленные, со стороны отражения в них черт национального самосознания.

Название поэмы «Полтава» есть акт поэтической мысли поэта. С этим именем связан победный поворот всего петровского царствования и утверждения законного места России и русских (именно *русских*, а не только великороссов!) в европейской истории. Ещё В. Г. Белинский охарактеризовал «Полтаву» как отражение «величайшей эпохи русской истории», при изображении коей Пушкин «воспользовался величайшим её событием Полтавскую битвою, в торжестве которой заключается торжество всех трудов, всех подвигов, всей реформы Пе-

тра Великого» [Белинский 6: 342]. Критик усмотрел также, что «Полтава» «богата новым элементом — народностью в выражении». Поэтому в картинах, сюжете, идейном замысле и пафосе этого произведения не могли не отразиться элементы национального самосознания в эпоху, изображённую поэтом, но главное — во время обращения к ней Пушкина. Смысл поэмы заключается в отражении национального самосознания пушкинского времени.

В фундаментальном исследовании этой поэмы Н. В. Измайлов, касаясь исторического события, положенного в основу поэмы, характеризует его как «поворотный пункт всей новой истории России, определивший её путь на столетие вперёд». Исследователь одновременно указывает, что Пушкин не случайно требовал от этой исторической поэмы «строгой правды и соответствия данным источников в характерах исторических лиц и в мотивировках действий и речей» [Измайлов: 117].

«Строгая правда» истории определила значение поэмы как произведения, ставящего *вопрос об историческом долге и достоинстве России как корневой державы славянского мира*. Ведь сюжет поэмы органически включает проблему измены внутри славянского родственного единства. Мазепа же выступает по существу своему не только как противник Петра («изменник русского царя»), но как противник единства, защитник «самостийности» и раскола славянского родства.

Две семейные измены отражены в поэме. Одна — измена славянской семье, измена Мазепы Петру; вторая — измена Марии своей семье и соединение с Мазепой. Два изменника соединились: Мазепа и Мария. Три верных долгу — остались в единстве, даже после казни одного из них: Пётр, Кочубей и Искра, — стоящие за Россию, против измены, за единство.

Так художественно мотивируются отношения между противоборствующими героями и вырисовывается фигура Петра, олицетворяющего Россию и сплочённость славянских сил, ибо он, сражаясь под Полтавой, единственный из всех, говоря словами поэта:

В гражданстве северной державы,
В её воинственной судьбе
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы
Огромный памятник себе.

Себе *как* представителю нации, себе *как* защитнику единства народа, себе *как* защитнику славянства от «немцев» и победителю захватчиков.

Вместе с тем в поэме живо отражён характер русского человека, каким он сформировался в истории. И это более всего выявляется как в описании Полтавской битвы, так и в последовавшем за ней победном пире, где свойственное национальному русскому типу отсутствие злопамятства и великодушное отношение к побеждённому противнику выражено особенно отчётливо:

Пирует Пётр. И горд и ясен
И славы полон взор его.
И светлый лик его прекрасен
При кликах войска своего

В шатре своём он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И за учителей своих

Заздравный кубок поднимает [Пушкин 4: 299].

Глубина, свойственная национальному характеру, чем далее, тем более ощущается поэтом. Но одновременно вызывает ещё одно типичное народно-национальное чувство — тяготение к Высшему, ощущение Абсолюта, Истины и осознание собственного несовершенства. Оно поэтически выражается в мотивах покаяния, проявляющихся в поэзии этих лет.

Прежде всего, стоит обратиться к «Воспоминанию» (1828), может быть, наиболее откровенному выражению сокровенных чувств, переполняющих поэта, передающему «змеи сердечной угрызенья». Раньше они не были столь отчётливы и переживались лишь как боль от «сердца ран». Теперь же они наполнились иным глубоким смыслом, соотносясь с размышлениями о смысле жизни и горьким осознанием греховно пройденного пути:

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.
«Воспоминание» (1828). [Пушкин 3: 60].

Двойственный смысл последнего стиха представляется не случайным: «не смываю» значит «не хочу смыть» и одновременно «не могу смыть». Отсюда и ощущение трепета, и проклятие, и отвержение, как бы *прелюдия покаяния*. Но покаяния, истинно национального, православного русского чувства раскаяния здесь ещё нет. В последующих стихах идёт смятенное осмысление жизни: и минуты отчаяния, возникающие при этом, вызывают ропот и ощущение бессмысленности бытия. Нахлынувшие чувства выливаются в другой поэтический шедевр:

Дар напрасный, дар случайный
Жизнь, зачем ты мне дана,
И зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

«Дар напрасный, дар случайный...» (1828). [Пушкин 3: 62].

Ощущение бесполезности и случайности бытия, его враждебности человеку, представление о безначальности судьбы, ощущение того, что «ум с сердцем не в ладу» — всё смешалось здесь в единой безысходности настроений. И сквозь прежнюю живую переполненность чувств, «волненьем жизни утомлённый, / оставя заблуждений путь») [Пушкин 3: 104], поэт всё чаще отдаёт предпочтение одухотворённым чувствам

перед кипением страстей. «Возвышение» чувств происходит одновременно с постепенным обретением иных жизненных настроений, проникнутых умиротворённым отношением к жизни, духовно-философическим настроением:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам...

...День каждый, каждую минуту
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать...

...И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать...

...И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечно сиять...

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829) [Пушкин 3: 135–136].

Многообразие жизненных впечатлений, переплавленных глубинным жизненным опытом, раздумьями о сущности бытия и смысле существования, завершается здесь гимном вечной жизни и красоте, которая не только *есть*, но *вечна*. Смысл *настоящего* бытия уже в том, что оно служит началом *будущего*. И ему поэт может сказать: «Да будет!». И ещё одно важное обстоятельство: «...бесчувственному телу / Равно повсюду истлевать», но — душе («мне», «я») — небезразличны земные пределы, ибо духовная связь с миром — иное: душа роднится с ним по-иному. Воспоминания наполняются духовным смыслом и духовною жизнью, и постепенно обретается *родное земное* и *родное небесное*.

Родное земное — путь к родному небесному, к Небесной родине — вот основной смысл развития пушкинского осмысления мира в последние годы жизни. Поэтому в «Воспоминаниях в Царском Селе» (1829) это обретаемое в то время пушкинское видение так наглядно прорастает через строки, обращённые к библейской притче:

Воспоминанием смущённый,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.

Так отрок библии, безумный расточитель,
До капли истожив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал. [Пушкин 3: 155].

Это говорящее сравнение свидетельствует о многом. И прежде всего — о духовном движении поэтической мысли поэта. Сравнение с блудным сыном (Евангелие от Луки, гл. 15, стих 1–19), расточившим с блудницами данное ему богатое наследство, дошедшим до нищеты и в отчаянии и сердечном сокрушении вернувшемся под отчий кров, означает несомненное возвращение к небесной родине, к Господу, к вере, причастность которой ослабевала до пределов нигилизма и приводила к отчаянию, к ропоту, к неверию, даже к отрицанию святынь... И вот вновь поэт возвращается к ним движением жизни через воспоминание о лицейских местах, где (пишет о себе А. С. Пушкин):

Среди святых воспоминаний
Я с детских лет здесь возрастал,
А глухо между тем поток народных браней
Уж бесновался и роптал.
Отчизну обняла кровавая забота,
Россия двинулась, и мимо нас волной
Шли тучи конные, брадатая пехота,
И пушек медных светлый строй... [Пушкин 3: 156].

Это запомнившееся памятное движение было связано в истории с тем духовным подъёмом, который образовался в патриотическом по-

рыве, но шёл выше и дальше земных дел и упований, ибо весь был проникнут верою в Бога, верою в заступничество Богородицы и всех небесных сил, верою, что не в силе Бог, а в правде, и что только достигнув духовных высот, можно обрести цель и смысл земного бытия.

В этом отношении характерен *ответ* митрополиту Филарету (Дроздову), в котором неодоухотворённую Высшим началом свою поэзию Пушкин именуется изнеженными звуками «безумства, лени и страстей», называет *лукавым* звон струн своей лиры и открыто признаётся в раскаянии в своих грехах и благодарности за духовное руководство:

...Когда твой голос величавый
 Меня внезапно поражал,

Я лил потоки слёз нежданных,
 И ранам совести моей
 Твоих речей благоуханных
 Отраден чистый был елей

И ныне с высоты духовной
 Мне руку простираешь ты,
 И силой кроткой и любовной
 Смиряешь буйные черты.

Твоим огнём душа палима
 Отвергла мрак земных сует,
 И внемлет арфе Серафима
 В священном трепете поэт. [Пушкин 3: 165].

Здесь уже очевидно свершение покаяния. И «потоки слёз нежданных» — это именно следствие внезапного осознания несовершенства и греховности, которые открылись внутреннему зору. Это и есть покаяние как акт внезапного прозрения и слёзного раскаяния в греховных мыслях и поступках.

Глубокие, захватившие всё существо поэта переживания, несомненно, были сопряжены со всем, о чём бы он ни писал в это время. И есть все основания полагать, что сонет «Поэту» также связан с ними. Поэтому слова «Поэт, не дорожи любовью народной» следует понимать

расширительно, как относящиеся ко всем, ему внимающим. Это подтверждает и «Ответ Анониму», в котором речь идёт в сущности о том же: о непонимании поэта «светом», «толпой», то есть читающей публикой. А призыв: «Иди, куда влечёт тебя свободный ум, / Усовершенствуя плоды любимых дум...» [Пушкин 3: 174] включает и область веры, и чистый елей благоуханных речей митрополита Филарета, в известных отношениях определившего направление пушкинской поэтической мысли в этот период. Не случайно, как бы во искупление греха своей юности, пишет Пушкин стихотворение «Мадонна» (1831), в котором образ Божьей Матери воссоздан с трепетным благоговением:

...В простом углу моём, средь медленных трудов
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной, чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —
Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и лучах,
Один, без ангелов, под пальмою Сиона.
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец. [Пушкин 3: 175].

Так, освобождаясь от скверны нигилизма, от размашистого и разгульного юношеского либерализма и атеизма, стихийные взрывы которого свойственны «бунтарской» стороне русского характера, поэт всё более обретает духовную гармонию взгляда на мир, устойчивое мирозерцание благоговейного мировосприятия, хотя временами «бесовские» настроения вдруг возникают вновь. Воплощающие их зримые образы возникают явственно и мучительно, надрывая его сердечную память:

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...
«Мчатся тучи, вьются тучи...» (1830). [Пушкин 3: 175].

И прощание со временем «безумства, лени и страстей» вызывает запоздалое опасение:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но как вино — печаль минувших дней
В моей душе, чем старее, тем сильней. [Пушкин 3: 177].

Безумные годы ещё имеют власть над поэтом, ещё возникают в воспоминаниях и, кажется ещё, что утраты эти невозможны новым, не ставшим плотью и кровью духовным мировидением. И отсюда это щемящее душу восклицание: «Но не хочу, о други, умирать; / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» [Пушкин 3: 177].

Это «прощанье сердца», тоска о прошедшем естественны и понятны; отсюда мотивы «Заклинания», «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы»; отсюда так живо запечатлённые воспоминания («В начале жизни школу помню я...») о времени, когда поэт «про себя превратно толковал / Понятный смысл правдивых разговоров». Когда, по его признанию, «праздномыслить было мне отрада» и влекли его волшебною красой «двух бесов изображенья», при виде которых (признаётся поэт)

Безвестных наслаждений тёмный голод
Меня терзал...
...все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень. [Пушкин 3: 202].

Ассоциативно созвучны этим «пограничным» настроениям строки из «Медока (Медок в Уаллах)» и др. Сквозь не прояснившийся сумрак новых настроений в раздумьях о прежних утратах пробиваются погони глубинных мыслей, ощущений и образов, осенённых новым могучим духовным светом. Пушкинская поэзия обретает путь к высотам земной и небесной Родины, к поэтическим обобщениям нового уровня, ранее намеченным и частично отражённым в его творчестве. За естественным и сокровенным чувством любви к отечеству и к прошлому своего народа открывается бездна смысла:

Два чувства дивно близки нам
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам... [Пушкин 3: 214].

Да, этим постоянно живёт сердце: и пепелищем прошлых лет жизни, и пепелищем прошлых веков истории Отечества, каждый образ которой удивительно и дивно отзывается в памяти личности, принадлежащей истории. Это своё ощущение «принадлежности» А. С. Пушкин незадолго перед этим ощутило прочертил в полемическом стихотворении «Моя родословная». И теперь в нескольких строках вновь высказал живую принадлежность к историческому прошлому, к событиям и традициям, исполненным в сознании памятливых потомков духовно-нравственного, общественно-политического и предметно-исторического содержания. Без него жизнь лишается смысла:

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.
Как без источника пустыня
И как алтарь без божества.

В этих словах — отблеск высот земной Родины, которая есть и прошлое, и настоящее, и будущее народа, к коему принадлежит поэт. Не это ли чувство, свойственное истинно русскому национальному самосознанию, постоянно трепещет в душе русского человека и, приглушённое обстоятельствами, вновь вдруг с новой силой возникает как сознание неизбывной причастности к родной земле от её истоков до настоящего времени и чаемого для неё будущего. Чувство это — «животворящая святыня» земного бытия. Невозможно найти ему более полного и сжатого определения.

Знаменательно, что всеохватывающее органическое ощущение земной Родины отражается в это время в пушкинской поэзии в сокровенной однозначности. Слова «но вреден север для меня» или «под небом Африки моей» воспринимаются теперь лишь как поэтическая игра. В минуты углублённых размышлений, когда тягостные воспоминания и «отдалённое страданье» тревожит душу поэта, он устремляется мыслью «Не в светлый край, где небо блещет / Неизъяснимой синевою, / Где

море тёплою волной / На пожелтелый мрамор блещет... («Когда порой
воспомянать» (1830)) [Пушкин 3: 215], но к истинной своей Родине:

Стремлюсь привычною мечтою
К студёным северным волнам
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикий
Увядшей тундрой покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг,
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок [Пушкин 3: 215–216].

«Любовь к отеческим гробам» как сокровенное, глубокое переживание истории великой России в трудные дни её бранных неудач в Польше и угрозы военного вмешательства европейских держав вполне отразились в стихотворении «Перед гробницею святой...». Всё оно — единое чувство благоговейной и благодарной любви к полководцу «из стаи славной екатерининских орлов», воплотившему замечательные черты русского национального характера, и прежде всего — чувство народности, свойственное истинным представителям великой нации. Не случайно употребление здесь характерного для русского гения А. В. Суворова слова «*восторг*», вошедшего в знаменитый суворовский афоризм: «Я русский! Какой восторг!». И здесь, с благоговением предстоя перед усыпальницей победителя Наполеона, поэт отмечает эту черту: «В твоём гробу восторг живёт, / Он русский глас нам издаёт...». На соприродность русскому духу указывает нам ещё одна сторона лирического повествования: «народной веры глас», сподвигнувший семидесятивосьмилетнего полководца принять ответственность за судьбы России. И эта *русская вера* как черта русского национального мироотношения определила и чувство национальной ответственности за судьбы страны и ту неизбежную органическую жертвенность, которая свойственна русскому национальному самосознанию в роковые

минуты. Посему этот священный гроб: «...нам твердит о той године, /
Когда народной веры глас / Воззвал к святой твоей (Кутузова — В. Т.)
седине: / “Иди, спасай!” Ты встал — и спас».

В памяти сердца, в любви к тому, кто «встал и спас», возникает величественный образ: «...властелин, / Сей идол северных дружин, / Мститый страж страны державной / Смиритель всех её врагов...».

К нему неслучайно обращается поэт с символической надеждою и духовной верою о помощи:

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спаси царя и нас,
О старец грозный, на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой.

Именно так: «спаси царя и нас», ибо царь в русском национальном самосознании оставался на *первом* месте. И как заклинание, звучит уже третий раз повторённое: «явись»:

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный.

«Наследник и избранный» — это тот, кто, сменив, заменит, примет знамя победы.

Но храм — в молчанье погружён,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый вечный сон.

Но ведь смысл стихотворения не в этом «невозмутимом и вечном», а в ныне совершающемся предстоянии:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой.

В этом предстоянии «отеческим гробам» есть корень силы, спасения и славы народной, как она запечатлена в русском национальном самосознании. Поэтому так определённо и непримиримо звучат строки другого стихотворения, написанного также в связи с развитием польских событий начала 1830-х гг. — «Клеветникам России».

В нём сказалась широта и пронизательность геополитических воззрений поэта, осознававшего духовно-политическое место и значение России в Европе. Это не узко националистический, эгоистический взгляд, но широкое воззрение на события, составляющие лишь эпизод в формировании общеевропейских отношений. Это было понимание роли славянского единства, определяющего судьбу всех славянских народов; это было основанное на историческом опыте убеждение, что именно Россия может быть государством, противостоящим немецким аппетитам на востоке и противовесом тем немецким завоеваниям, которые всегда приводили к геноциду завоёванных «чужих» славянских народов. Это было понимание того, что для Польши подчинение России меньшее зло, чем покорение её национально враждебным и чужеродным пруссачеством.

Пушкин, несомненно, немало знал и размышлял о внутренних движителях польских событий, которые были, в сущности, возбуждены шляхтой во главе с Адамом Чарторыйским, полагавшим восстановление Польши в границах Речи Посполитой 1772 г. через отторжение исторически принадлежащих России малороссийских, белорусских и литовских территорий. Не исключено, что Пушкину были известны суждения его друзей и знакомых из круга декабристов, которые мыслили дальнейшую судьбу славянских народов как *единство* федераций «с бурно растущей промышленностью, торговлей, мощными портами на берегах четырёх морей — Чёрного, Белого, Балтийского и Адриатического» [Нечкина: 149]. Все эти соображения были основанием той поэтической отповеди, которую дал национальный поэт мнениям и заявлениям, направленным против России, против русских как нации, сдерживающей прикрытие и прикрываемые демагогией вполне хищнические замыслы некоторых европейских правительств.

Как отмечает Е. Н. Лебедев, «по мысли Пушкина, Россия на протяжении веков во всеоружии моральных и материальных факторов отстаивает себя от внешних посягательств и, отстаивая себя, неизбежно несёт вовне, на Запад, не только политическое, но и духовное

освобождение от тех цепей, которыми он всякий раз оказывается скован по собственной воле. И всякий раз в таких случаях (Карл XII, Фридрих II, Наполеон) Россию ожидает на западе глухое или явное, затаённое или воинствующее непонимание, в конечном счёте, ненависть. Запад на протяжении веков пугает себя призраком некоего чудовища с Востока, которое поглотит его. Призрак этот не что иное, как фантастическое отражение ущербно-экспансионистских устремлений (политических и волевых) Запада. В действительности всё происходит наоборот: именно из недр самой западной жизни появляется на свет чудовище, которое поглощает в себе все государственные и национальные частности Европы (все Франции, Италии, Германии, Австрии), то есть ведёт себя, как псевдорусский призрак из страшной сказки. Путь к мировому господству лежит через Россию, которая не даёт себя победить. Когда же она, добывая чудовище, гонит его вспясть и раскраивает, наконец, его чрево, из которого выходят на свет и устремляются к новой жизни некогда поглощённые чудовищем государственно-национальные организмы, вновь обретшие свою частность, они при виде русского войска в Европе содрогаются от страха: вот оно и сбылось! пришло чудовище-то! Со временем страх обращается в ненависть, и новая безумная, самоубийственная экспансия на Восток, в общем, становится неизбежной. Нежелание и неспособность понять Россию коренным образом связано с нежеланием и неспособностью Запада противостоять своим собственным экспансионистским устремлениям» [Лебедев: 96].

Первый стих названного стихотворения вполне отражает картину многочисленных заявлений, выдаваемых лицемерно за акции борьбы за справедливость: «О чём шумите вы, народные витии?» (выделено мной — В. Т.). Воистину шум был поднят с определенной целью. «Под шумок» можно было и «сообща» выступить против России. Пушкин лишь напоминает, что подобные выступления уже были и чем они кончились. Однако главное (и с этим связано основное содержание замечательного пушкинского стихотворения) — это его историко-политический смысл и духовно-нравственный пафос.

Первое, что с очевидностью определяется здесь, это истинная, а не суетная историческая реальность: нет, не Россия и Польша в глубоком историческом значении противостоят друг другу, ибо славянская общность значительней, чем их временная (пусть и повто-

ряющаяся) распря. Противостоят России страны «западного мира», той неблагоприятной «западной цивилизации», которая не раз была защищена и более — спасена Россией. Отсюда и следует пафос пушкинского стихотворения, обращённого к западным соседям. Всё это подтверждается реальными историческими фактами, являющимися неперменной основой исторического национального самосознания русского народа. Его миссия (уже исторически привычная) — спасти, жертвовать собой и быть ненавидимым спасёнными за эту свою жертвенность. Такой национально-русский тип поведения — утвердился исторически в русском национальном самосознании, как свой, привычный, составляющий можно сказать национальную черту характера народа.

Именно поэтому стихотворение «Клеветникам России» ярко отражает типическое национальное самосознание, подтверждаемое всей историей русского народа. Таким образом, пафос стихотворения отражает объективную обстановку в Европе того времени, заставившую Пушкина бросить нравственный вызов клеветникам, чающим реванша, погубления России и относящихся к ней с давней ненавистью:

Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?.. [Пушкин 3: 222–223].

Как уже было замечено исследователями, «дальнейший разговор с западными оппонентами Пушкин ведёт на языке, доступном именно несвободным людям», представления которых «запрограммированы» на названную выше «схему»:

Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России
Среди нечуждых им гробов. [Пушкин 3: 223].

Эхом отзывается на эти строки написанная вслед за тем «Бородинская годовщина» — стихотворение, посвящённое взятию Варшавы, совпавшему с днём Бородинского сражения. Не слепое торжество или злорадное ликование владеет поэтом: он отмечает свойство победителей, русский национальный характер, сказавшийся в ходе и свойствах победной компании:

В боренье падший невредим.
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжём Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца. [Пушкин 3: 225].

Автором отмечается великодушие русских как черта национального самосознания. Это самосознание спустя восемь лет охарактеризует В. Г. Белинский в статье «Бородинская годовщина...», так определил задачу современников: «Не будем забывать собственного достоинства, будем уметь быть гордыми собственной национальностью; но будем уметь быть гордыми без тщеславия, которое закрывает глаза на собственные недостатки и есть враг всякого движения вперёд, всякого преуспевания в добре и славе...» [Белинский 2: 116].

Слава и *добро* неразрывно связаны в русском самосознании. И вообще — целостная гармония человеческих достоинств как идеал и направление вожделенных стремлений — её характерная черта. Лад как внутренняя цельность определяет формулу стремлений и основную направленность, свойственную идеальным порывам русского духа.

На завершающем этапе своего поэтического развития поэт обретает именно гармоническую полноту видения мира и целостность представлений об идеале, данность, соприродную национальному самосознанию. Например, красота и красавица как её предметное воплощение в это время воспринимается им в русском национальном духе как особая русская гармония, то есть лад. Ибо основой гармонии традиционно является мера, число. Лад же соотнесён с другой, духовно-сердечной, целостно-объёмной мерой: мир, согласие, любовь, милость, ласка, счастье, добротолюбие. В этом смысле пушкинская «Красавица» выражает этап эстетического состояния поэта и одновременно — именно русский взгляд на красоту и является художественным отблеском русского национального самосознания, ибо передаёт даже не высочайшую красоту, а нечто иное:

Всё в ней гармония, всё диво,
 Всё выше мира и страстей.
 Она покоится стыдливо
 В красе торжественной своей;
 ... встретишь с ней, смущённый ты
 Вдруг остановишься невольно,
 Благоговей богомольно
 Перед святыней красоты...

Именно «диво», «выше мира», выше страстей, «в красе божественной» и вместе с тем — органически связанное с этими необыкновенными достоинствами смущение («покоится стыдливо»). И не просто красота, но святыня красоты или красота как святыня — вот что существенно и запечатлено поэтом. Это ещё один пример художественной пронизательности, достигнутой Пушкиным на завершающем этапе его творческого пути.

В эти годы русская стихия уже вполне овладела им; русский образ мыслей и чувств, органически присущие поэту, находили всё более целостное выражение в его поэзии, самые формы которой становились всё более разнообразными в воссоздании национального содержания.

Пушкинские сказки представляют собой художественный мир, отразивший всю полноту сказочного мирозерцания русского фольклора в многообразии образов-характеров и типических сюжетов, в

характерных картинах сказочной жизни и быта, творчески расцвеченного богатым воображением поэта.

Первая широко известная сказка из числа написанных в 1830-е гг., пожалуй, наименее соответствует полноте народного мирозерцания, отражая сатирический взгляд на скупость, олицетворённую героем-попом. В действительности — это весьма странный сказочный поп, имеющий договор с нечистой силой о выплате ему «до самой смерти» оброка. Спрашивается: за что? Даром нечистый ничего не даёт. Значит, можно предположить, это вроде бы и не поп, а *иуда от попов*, вступивший в связь с врагом рода человеческого. От такого попа можно ждать чего угодно, а не только скупости. Простодушный Балда выступает не только олицетворением справедливости, но одновременно — силы, ловкости, находчивости, смекалки, весёлой непосредственности и, прежде всего, — обаятельного трудолюбия:

...До светла всё у него пляшет:
Лошадь запряжёт, полосу вспашет;
Печь затопит, всё заготовит, закупит,
Яичко испечёт да сам и облупит... [Пушкин 4: 419].

Так отразилась в герое гамма достоинств, присущих русскому национальному характеру.

В «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» народный взгляд на мир выявился с большей полнотой. Разнопёстрые сказочные обстоятельства выявляют перед нами черты национального видения и духовно-нравственный национальный идеал русской сказки. Прежде всего, это черты быта и русского мирозерцания.

Три девицы (героини сказки) предстают здесь великими труженицами. Их мечты и связаны с тем, чтобы преуспеть в труде и исполнении своего сотрудничества в делании. Так проясняется идеал созидательности, типическая черта русского национального характера, представленная здесь со сказочной гиперболичностью. Царя, слышавшего разговор девиц, привлекли более всего слова последней сестры, которая по простоте своей мечтала, если бы была царицей, родить богатыря «для батюшки царя». «Мысль семейная» оказывается более значимой, чем мысль о трудовом созидании.

Судьба сестры, ставшей царицей, вызывает зависть, чувство, свойственное многим грешным людям. Так завязывается сюжет сказки, где зависть, зло, коварство, злопамятство и мстительность противостоят чистосердечию, искренности, добру, всепрощению и благодарности.

Заботливость царя Салтана и заботы царицы о сыне («И царица над ребёнком / Как орлица над орлёнком») наталкиваются на злые замыслы завистниц, воспользовавшихся отсутствием государя. Козни сестёр приводят к исполнению якобы царёва приказа: «и царицу и приплод / Тайно бросить в бездну вод». Но на этом страшном и несправедливом решении не может кончиться русская сказка, созвучная русской вере в окончательную победу добра. Добро и добротолубие, доброделание и благодарение, милосердие и горячее чувство справедливости, наконец, торжество справедливости, счастье, благоденствие, открытие истинной цены злых деяний и милосердное прощение тех, кто совершил злое дело, — вот сказочная логика, в которой выявляется русский взгляд и сияет русский дух.

Этот дух пронизывает и последующие сказки, среди которых стоит обратить внимание на «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833) [Пушкин 4: 458], где русский колорит и образ мыслей сказываются всюду. И одна за другой, воплощённые в сказочном сюжете, возникают в ней коренные идеи русского национального самосознания: *идея семьи и супружеской верности, идея «чинности», слаженности бытия, воплощённая в идеальном образе смиренной и прекрасной царевны, наконец, идея правды-справедливости и окончательной победы добра над злом.*

Образ супружеской преданности, символично запечатленный в начале сказки в истории царицы, ожидающей мужа «у окна» и не перенесшей затем радости встречи, утверждается всем развитием дальнейших событий, связанных со второй сюжетной линией — судьбой молодой царевны.

В ней воплощён *идеальный образ русской женственности*, проявляющейся в смиренном, радушном и любвеобильном видении ею мира, в сокровенном почтении и деятельном приятии добрых обычаев, заветов и традиций, во всём поведении героини. И в том, как невозмутённо просит она о милости чернавку, назначенную ей в погубительницы, и в том, как ведёт она себя, попадая в неведомый ей дом семи богатырей:

Дом царевна обошла,
Всё порядком убрала,
Засветила Богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Совершенно в русском духе благородного гостеприимного почтения и обращение к неведомой гостье семи богатырей:

Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек,
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названный,
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица...

Примечателен и ответ царевны, сдержанно-скромный, полный достоинства и радушия.

Нетрудно узнать в этом поведении истинно русский тип женщины: царица смиренно приветствует хозяев, не пытаясь и намекнуть о своём прирождённом достоинстве. Так ещё раз выявляются в творчестве поэта чувство национальности в воссоздании образа, соответствующего национальному типу. Те же традиционные русские национальные черты вполне обнаруживаются и в непринуждённом и чистосердечном диалоге между богатырями и царевной много времени спустя в сцене их неудачного сватовства.

Плнота доброты в русском духе проявляется и в дальнейшем развитии сюжета: коварное покушение на жизнь царевны, её смертный сон, после которого братья «сотворив обряд печальный», положили её «во гроб хрустальный», ибо она «как под крылышком у сна / Так тиха, свежа лежала, / Что лишь только не дышала». Здесь и самый нетленный сон её символизирует душевно-духовную чистоту.

Упорные поиски невесты приводят царевича Елисея к цели: он находит место, где она покоится. Последний его порыв отчаяния и одновременно — самоотдачи (все силы вложены в него) завершаются тем, что казалось невозможным:

И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумлёнными глазами,
И качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»

Возвращение Елисея с царевной — главное, но не единственное событие, завершающее повествование. Убедившись, что невинная соперница жива, мачеха умирает, и свадьба молодых венчает события в русском духе торжеством добра и красоты, а осуждение и уничтожение зла олицетворяет идеальную русскую идею необоримости правды-справедливости и праведного Божьего суда.

«Странник» (1835) — одно из самых значительных стихотворений последних лет — представляется, прежде всего, как искреннее самовыражение внутреннего состояния поэта и одновременно как итог духовного странствия и обретения им вдруг открывшейся Истины и сокровенного отношения к ней, в чём и проявляется с безусловной очевидностью русское национальное сознание, выражающееся в смирении перед Истиной. С этим связано горькое сокрушение об отступлении от Истины, жажда очищения перед лицом Вечности, перед Господом, непреодолимое стремление обрести Истину (или, увы, иногда то, что показалось истиной), приблизив себя к Ней раскаяньем «до дна» и безграничную скорбь самоуничтожения, возникших из глубокого ощущения собственной греховности в преддверии «тесных врат» Царствия Небесного:

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,

Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзённой муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?» [Пушкин 3: 342].

Пушкин, словно предчувствуя приближение конца, за два года до смерти выразил с удивительной полнотой высочайшую степень духовного видения, в той или иной мере отражённую стихотворениями 1834–1836 гг..

Поражает полнота духовных вопросов, отражённых в пушкинском шедевре. Исследователи отметили в нём и «тему духовной жажды», роднящую это стихотворение с пушкинским «Пророком», «неудовлетворённость человеческой души тем, что может дать нам дольний мир» — «долина дикая», тему «греховного бремени человека» и «тяжких угрызений совести» и тему Страшного суда и «неотвратимости смерти всякого рождённого на земле» и «одиночества и оставленности», наконец, темы «осияния истиной», «мудрости небесной», «мужества и воли» [Васильев: 209–210]. Поставить в столь сжатой художественной форме все темы и наполнить их личным содержанием мог только человек, который хорошо знал Евангелие и много о нём думал. «Попытки истолковать “Странника” вне круга притчевого языка Евангелия обречены на неудачу» [Васильев: 213]. В «Страннике» нашло выражение русское осознание, понимание и переживание Евангелия как Откровения, которое (и это характерно для русского сознания) принимается всем сердцем, всей глубиной души, «без рассудка». Гибель «земного Града», «мира сего» представляется Страннику с предельной отчётливостью:

И так я, сетуя, в свой дом пришёл обратно.
Уныние моё всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! –
Сказал я, — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное время
Тягчит меня. Идёт! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречён
Он в угли и золу вдруг будет обращён,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? о горе, горе!» [Пушкин 3: 341].

Русское сознание проявляется здесь в самозабвенном «стоянии в Истине», в несокрушимом стремлении к ней, в неодолимом намерении стремиться только к ней, в забвении всего: семьи, друзей, даже сего мира ради её обретения, в неизбывном намерении идти только к ней, не внимая ничьим советам и никаким препятствиям:

Пошёл я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как раб замысливший отчаянный побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег,
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу,
Он тихо поднял взор — и спросил меня,
О чём, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
Я осуждён на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чём крушусь: к суду я не готов
И смерть меня страшит».

Лишь указание юноши на брезжащий вдали свет, на который странник «оком стал глядеть болезненно-отверстым, как от бельма врачом избавленный слепец», и слова:

«Иди ж, — он продолжал; — держись сего ты
света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!»... —

обращают странника броситься к цели, бежать (именно: бежать, а не идти!) к ней, вопреки призывам и крикам семьи, друзей, соседей...

Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата. [Пушкин 3: 341].

Так заканчивается эта маленькая поэма о прозрении и пути к спасению от зла мира сего, препятствующего войти в «тесные врата» Небесного града. Побег от мира, лежащего во грехе, как единственный путь к Истине был окончательно обретён поэтом лишь в последние годы жизни. Он определил характер его мировосприятия и настроения и вновь подтвердил национальную самобытность его взгляда на высшую цель жизни как на стремление к Богу, который есть Любовь, Свет миру, Путь, Истина и Жизнь.

При всём том мысль поэта неизменно возвращается к судьбам отечества.

Письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г. — прямое свидетельство русского образа мыслей и национального самосознания великого поэта — обнаруживает не только глубокое представление об историческом значении России, но ясно выраженное чувство национального достоинства: «...Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» [Пушкин 10: 872].

При всём том мысли поэта неизменно возвращаются к судьбам отечества, о чём свидетельствует, в частности, небольшой отрывок «Пир Петра Первого». В нём отражено типическое свойство русского национального сознания, высветившееся с характернейшей стороны: причина великого торжества государя — не событие государственной важности, но — радость духовная:

Что пирует царь великий
В Петербурге городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке...

...он с подданным мирится,
Виноватому вину,
Отпуская, веселится:
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом... [Пушкин 3: 349].

Предпочтение духовного начала как органическое свойство национального самосознания Пушкин запечатлел не только этим стихотворением, но и всем своим творчеством, свидетельствующим о неизменном духовном возрастании его гения, чему был подведён поэтический итог в стихотворении «Я памятник себе воздвиг...». Исследователи отметили принципиальное отличие этого пушкинского шедевра от аналогичных произведений, имеющих в основе стихотворение Горация.

Фундаментальное исследование М. П. Алексеева [Алексеев], рассмотревшего пушкинский шедевр в ряду русских переводов и переложений «*Exegi monumentum...*» Квинта Горация Флакка и творческой биографии поэта, выявило много чрезвычайно важных смысловых оттенков пушкинского стихотворения. Однако недавние исследования привели к принципиальным наблюдениям, позволившим осветить новым светом его духовный смысл и содержание [Бобылев: 272–301].

При этом замечено, что художественно-смысловое значение эпиграфа к стихотворению (первый стих из Горация) определяет самое стихотворение как *ответ* и в некоторых отношениях — *спор* с автором-предшественником. «Внутренний полемический пафос, — пишет исследователь, — достигает большой силы уже в первой строчке стихотворения: *Я памятник себе воздвиг **нерукотворный**...*» [Бобылев: 295]. Это слово означает предельное возвышение, «богоравность». Иными словами, Пушкин доводит до предела тот *смысл*, который «подспудно присутствует в текстах предшественников — претензии безудержной гордыни, стремление не только сравняться с Богом, но превзойти Его» [Бобылев: 295].

Исследователь отмечает далее, что местоимение «я» в названном тексте «равнозначно *мы*» и указывает на символично-содержательное значение слова “*стоит*”, придающее фразе особо значимое содержание,

вследствие слияния в художественном тексте исторического и вневременного, “мистического” его толкования» [Бобылев: 296]. Исходя из всего этого, и обозначается вывод: Пушкин выявляет здесь, что во всех стихотворениях предшественников, в сущности отразивших черты языческого (и атеистического) миропредставления, было до конца не прояснено «стремление оставить после себя материальный след в земной жизни». Против этой «доминанты» и направлена вторая строфа пушкинского произведения «выдержанная в совершенно другой тональности» [Бобылев: 296].

Отмечая «неуверенность и тоскливую беззащитность» интонации второй строфы после мощной «самовозвышенности», рождённой первой строфой, исследователь указывает на логику внутреннего художественного мировосприятия поэта. Страсть дерзостной гордости неизбежно ведёт к унынию, и душа «вновь ищет спасения от него в мыслях о посмертной славе». Однако Пушкин употребляет далее слово «прах», и оно «не оставляет места иллюзиям и самогипнозу» [Бобылев: 297]. Возникающий контраст настроений и смыслов находит своё разрешение в «радикальной смене позиции Пушкина к концу стихотворения. Здесь лишь выводится то, что скрывалось в подтексте предшествующих строф» [Бобылев: 297]. При этом становится очевидна и полемика с переводчиками-предшественниками.

«Пушкинские слова: *будь послушна, / Обиды не страшась, не требуя венца*, — носят ответный характер, но в них нет политической страсти, они дышат смирением и покоем» [Бобылев: 297]. Так возникает органическая связь пушкинской мысли со святоотеческой традицией и выявляется важнейший смысловой акцент пушкинского стихотворения: «Мы должны принять творчество во имя Божественной красоты как послушание».

В сущности, и всё пушкинское творчество развивается в этом ключе, и жизнь по Божественному замыслу, осознаваемому поэтом и человеком, в главном была, есть и будет служением Богу и его замыслу, наконец, его творению — человеку и человечеству. Всё это и включает в разных отношениях и смыслах русское национальное самосознание, несомненным выразителем которого явился великий Пушкин.

«...Жизнь и творчество его, — писал Н. Котляревский, — стали для нас символом всей нашей жизни, как народа, символом нашего национального духа, насколько он до сей поры обнаружился. Гений

писателя отождествился с гением России. Говоря о Пушкине, думаешь о России, об её прошлом, думаешь о том таинственном, что её ожидает. Как будто самый смысл её существования начинает открываться, брезжить на страницах его творений. Творчество поэта наводит на мысль о творчестве его Родины, не только творчестве художественном, но вообще всяком обнаружении наших духовных сил. <...> Ни один наш писатель не совмещает в себе в такой отчётливой полноте все самые типичные черты ума и характера нашей народности. Пушкин и его творения — вот ответ на вопрос о России, если с таким вопросом мы именно к нему хотим обратиться. <...> Пусть самым образованием он был обязан всему культурному миру, но душа его была русская...» [Котляревский: 4, 5, 14].

Список литературы

- Алексеев М. П.* Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения. Л.: Наука, 1967. 272 с.
- Бобылев Б. Г.* О методологических основах преподавания словесности: традиции и перспективы анализа художественного текста в школе // Филология и школа. Вып. II. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 272–301.
- Васильев Б. А.* Духовный путь Пушкина. М.: Sam and Sam, 1994. 300 с.
- Безруков А. А.* Возвращение к православности и категория страдания в русской классике XIX века. М.: РГСУ, 2005. 340 с.
- Белинский В. Г.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Худ. лит, 1976–1982.
- Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
- Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л.: Наука, 1975. 340 с.
- Ильин И. А.* Собр. соч.: в 10 т. М.: Русская книга, 1993–1999.
- Котляревский Н. А.* Пушкин и Россия. СПб.: Пушкинский дом, 1922. 22 с.
- Лебедев Е. Н.* 1812 год и проблема познания народа в русской лирике первой половины XIX в. // Отечественная война 1812 г. и русская литература XIX в. М., 1998. С. 81–115.
- Нечкина М. В.* Движение декабристов.: в 2 т. М.: Акад. Наук СССР, 1955.
- Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: Акад. наук СССР, 1957–1958.
- Свят. Тихон Задонский.* Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского: в 5 т. М.: Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994.
- Тихомиров Л. А.* Религиозно-философские основы истории. М.: Москва, 1997. 589 с.
- Франк С. Л.* Этюды о Пушкине. Париж: YMCA-press, 1987. 126 с.

References

Alekseev M. P. *Stikhotvorenie Pushkina "Ja pamiatnik sebe vozdvig...": Problemy ego izucheniia* [Pushkin's poem "I have erected a monument to myself ...": Problems of its study]. Leningrad, Nauka Publ, 1967, 272 p. (In Russ.)

Bobylev B. G. *O metodologicheskikh osnovakh prepodavaniia slovesnosti: traditsii i perspektivy analiza khudozhestvennogo teksta v shkole* [On the methodological foundations of teaching literature: traditions and prospects of the analysis of literary text in school]. *Filologiya i shkola*. Vyp. II [Philology and school]. Vol. II. Moscow: IMLI RAN Publ, 2008, pp. 272–301. (In Russ.)

Vasil'ev B. A. *Dukhovnyi put' Pushkina* [The spiritual path of Pushkin]. Moscow, Sam and Sam Publ, 1994, 300 p. (In Russ.)

Bezrukov A. A. *Vozvrashchenie k pravoslavnosti i kategoriia stradanii v russkoi klassike XIX veka* [Return to Orthodoxy and the category of suffering in Russian classics of the 19th century]. Moscow, RGSU Publ, 2005, 340 p. (In Russ.)

Belinskii V. G. *Sobr. soch.: v 9 t.* [Collected works in 9 vols.]. Moscow, Khud. lit. Publ, 1976–1982. (In Russ.)

Dostoevskii F. M. *Poln. sobr. soch.: v 30 t.* [Complete works in 30 vols.]. Leningrad, Nauka Publ, 1972–1990. (In Russ.)

Izmailov N. V. *Ocherki tvorchestva Pushkina* [Essays on the work of Pushkin]. Leningrad, Nauka Publ, 1975, 340 p. (In Russ.)

Il'in I. A. *Sobr. soch.: v 10 t.* [Collected works in 10 vols.]. Moscow, Russkaia kniga Publ, 1993–1999. (In Russ.)

Kotliarevskii N. A. *Pushkin i Rossiia* [Pushkin and Russia]. St. Petersburg, Pushkinskii dom Publ, 1922. 22 p. (In Russ.)

Lebedev E. N. *1812 god i problema poznaniia naroda v russkoi lirike pervoi poloviny XIX v.* [The year 1812 and the problem of cognition of the people in Russian lyrics of the first half of the XIX century] *Otechestvennaia voina 1812 g. i russkaia literatura XIX v.* [The Patriotic War of 1812 and Russian literature of the XIX century]. Moscow, 1998, pp. 81–115. (In Russ.)

Nechkina M. V. *Dvizhenie dekabristov.: v 2 t.* [The movement of the Decembrists in 2 vols.]. Moscow, Akad. Nauk Publ, 1955. (In Russ.)

Pushkin A. S. *Poln. sobr. soch.: v 10 t.* [Complete works: in 10 vols.]. Moscow, Akad. nauk SSSR Publ, 1957–1958. (In Russ.)

Sviat. Tikhon Zadonskii. *Tvoreniia izhe vo sviatykh ottsa nashego Tikhona Zadonskogo: v 5 t.* [Religious and philosophical foundations of history: in 5 vols.]. Moscow, Izdanie Sviato-Uspenskogo Pskovo-Pecherskogo monastyria Publ, 1994. (In Russ.)

Tikhomirov L. A. *Religiozno-filosofskie osnovy istorii* [Religious and philosophical foundations of history]. Moscow, Moskva Publ, 1997, 589 p. (In Russ.)

Frank S. L. *Etiudy o Pushkine* [Etudes about Pushkin]. Parizh: YMCA-press Publ, 1987, 126 p. (In Russ.)